

МЕНТАЛЬНАЯ ДОМИНАНТА РОССИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

И.В. КОНДАКОВ

Александр Соломонович Ахиезер не занимался специально проблемами менталитета. Более того, можно заметить в его суждениях о менталитете некую нескрываемую иронию. Так, рецензируя главную книгу своего близкого друга и единомышленника Г.А. Гольца¹, Ахиезер писал, что «автор пытается работать с производным от культуры понятием ментальности, являющимся некоторой застывшей абстракцией»². Заметим три оттенка промелькнувшей дефиниции: понятие ментальности – «производное от культуры», «некоторая застывшая абстракция», и, наконец, сама «попытка работать» с этим понятием – по меньшей мере, сложна, если в какой-то мере успешна.

Из оценки рецензируемой книги становится ясно, что, с одной стороны, «российский менталитет, как считает исследователь, складывался под влиянием климатических и территориальных условий»; с другой же стороны, существующая объективно зависимость хозяйства России от «неблагоприятных природных, климатических условий» не является «фатальной», и ведущим здесь является все же «фактор культуры»³. Тот же менталитет проявляется в «скрытых механизмах жизни общества» и одновременно – в «неистребимом разрушительном утопизме»⁴. Из перебираемых здесь оттенков смыслов очевидно, что менталитет, в понимании Ахиезера, произведен и от природы, и от культуры, это – сложно организованная *глубинная структура культуры*, складывающаяся из множества скрытых механизмов, то противоречащих друг другу, то дополняющих друг друга, которые образуют в сумме «конструктивную напряженность» культуры и тем самым способствуют ее постепенной трансформации – от одного глобального цикла к другому и третьему.

Как правило, черты, определяющие ментальность той или иной цивилизации, в отличие от идеологических, социально-политических, религиозно-конфессиональных и иных культуротворческих факторов, отличаются большой стабильностью и не изменяются столетиями, а, появившись однажды в цивилизационной парадигме, уже больше не покидают ее. Более того, менталитет национальной культуры, даже претерпевая некоторые изменения в ходе истории, все же остается, в своей основе, постоянным, что позволяет идентифицировать культуру на всем ее историческом пути – от зарождения до расцвета и, может быть, и гибели – в соответствии с ее *ментальной константой*.

Так, национальное своеобразие русской культуры узнаваемо и на стадии Крещения Руси, и в период монголо-татарского ига, и в царствование Ивана Грозного, и во время петровских реформ, и при жизни Пушкина, и в «Серебряный век», и при советской власти, и в эмиграции, и на современном этапе постсоветского развития России. Поскольку речь здесь идет, таким образом, не столько о самоидентичности культуры на протяжении тысячелетия, сколько о цивилизационном единстве России, следует говорить о чем-то большем, нежели национально-культурный менталитет, — а именно о *ментальных предпосылках*, или *основаниях*, сложившейся в России цивилизации, т.е. о глубинных факторах цивилизациогенеза в России.

«Авось»

Российская цивилизация складывалась в условиях принципиальной «пограничности» между Европой и Азией, между оседлостью и кочевничеством, на рубеже Леса и Степи, на перекрестке великих мировых религий Запада и Востока и архаического язычества коренных народов. Подобная культурная «пограничность» чревата либо предельным (глобальным) *синтезом* несоединимых крайностей («всеединство»), либо предельной поляризацией целого, т.е. драматическим *расколом*, непримиримой конфронтацией и борьбой смысловых полюсов. Это придает — и в том, и в другом случае — самому менталитету российской цивилизации, а вместе с тем и российской культуре качества «смысловой неопределенности», аморфности, неустойчивости (совершенно не характерные для Европы и западной культуры).

Глубокий исследователь феномена «культурного пограничья» В. Багно, апеллируя к характерным в этом отношении регионам, как Кавказ, Ближний Восток, Балканы и Испания, отмечает такие особенности пограничных культур, как «бóльшие по сравнению с культурами “непограничными” *открытость* и *закрытость*». «Культуры пограничные, — продолжает ученый, — неизменно являются особенно восприимчивыми к идущим извне влияниям и в то же время ревниво оберегающими свою самобытность. Этой особенностью объясняется столь характерное для них постоянное колебание между двумя полярными тенденциями: *охранительной* и *космополитической*, “всемирной отзывчивостью” и сохранением традиций, сочетание которых и является не только естественным, но и единственно возможным для подобного типа культур динамичным фактором их развития»⁵. В то же время В. Багно подчеркивает, что важнейшей — не просто особенностью, а *миссией* пограничного сознания и пограничных культур оказывается *связующая* (народы, культуры, религии, языки и т.п.), а не разъединяющая или раскалывающая, поляризующая их.

Действительно, одновременное соединение в культуре «открытости» и «закрытости», интеграции и дифференциации, охранения и прогресса, космополитизма и почвенничества, «всемирной отзывчивости»⁶ и косной традиционности, центробежности и центростремительности⁷ не может не привести к *размытости* всех основных категорий и критериев социокультурного развития, а также — к *ценностно-смысловой неопределенности культурной семантики* в целом. Это делает пограничную цивилизацию в какой-то степени одинаково близкой всем цивилизациям, с которыми она граничит, какими бы взаимоисключающими они ни казались (и Западу, и Востоку, и тоталитаризму, и демократии, и монархии, и республике). Эта «близость» в равной мере может говорить и об органической взаимосвязи глубоко различного в российской действительности, и об известной беспринципности цивилизационных предпочтений России, с европейской точки зрения.

Символическим воплощением такой изначальной перманентной «зыбкости» и «смысловой неопределенности» социального субстрата древнерусской (и в целом русской) культуры является знаменитый «русский *авось*», означающий в конечном счете *надежду* на стихийное стечение обстоятельств, в результате которого все проблемы разрешатся как бы сами собой, без каких-либо субъективных усилий человека, вне его целенаправленной активности, и в то же время выражающий *равнодушие* к любому исходу в развитии событий, к тому или иному разрешению проблемной ситуации. По существу, «авось» — это символ безграничного плюрализма, в котором неисчислимая множественность (фактов, свойств, событий, судеб и т. п.) равносильна всепоглощающему монизму и аморфной целостности, поскольку своеобразие элементов, составляющих это множество, практически неразлично и несущественно. Именно «авось» представляет собой аккумулированное представление о русской протоментальности, лежащей у истоков и в основании всей национальной культурной традиции «русскости» и менталитета русской культуры в целом.

«Так что же все-таки означает “*русское авось*”? — риторически задается вопросом крупнейший польский лингвист А. Вежицкая, изучающая своеобразие национальной культуры и менталитет народа через особенности национального языка, и сама же отвечает: — По существу это отношение, трактующее жизнь как вещь непредсказуемую: “нет смысла строить какие-то планы и пытаться их осуществлять; невозможно рационально организовать свою жизнь, поскольку жизнь нами не контролируется; самое лучшее, что остается делать, это положиться на удачу”». А. Вежицкая подчеркивает, что частица *авось* в русской народной философии

фии и русском самосознании занимает совершенно особое место. «...Русская частица *авось* подводит краткий итог теме, пронизывающей насквозь русский язык и русскую культуру, — теме судьбы, неконтролируемости событий, существованию в непознаваемом и не контролируемом рациональным сознанием мире. Если у нас все хорошо, то это лишь потому, что нам просто повезло, а вовсе не потому, что мы овладели какими-то знаниями или умениями и подчинили себе окружающий нас мир. Жизнь непредсказуема и неуправляема, и не нужно чересчур полагаться на силы разума, логики или на свои рациональные действия»⁸.

Сродни «авосою» и христианско-языческое двоеверие (зародившееся сразу вслед за Крещением Руси и длившееся целое тысячелетие), и традиционная, во многом языческая русская вера в чудо, в «доброту царя», в «соборную» правоту народа, в неизменность традиций, в благодать природы, вечной и непостижимой. В этом же смысловом ряду и убеждение в величии и правоте древнерусского, российского, советского и постсоветского государства, поглощающего собой и подчиняющего себе личность, руководствующегося произволом и насилием. Здесь же и апология жертвенной любви, долготерпения, пассивности, закрепившиеся в национальном сознании и национальном характере, особенно за время монголо-татарского ига. Постепенно апология и одновременная критика терпения привели к специфически русской дилемме «бунт или покорность», разрешением или «снятием» которой стал гротескный «бунт на коленях» глуповцев из «Истории одного города» Шедрина (тот же «авось да небось»: как-нибудь «пронесет!»).

Так или иначе, русский «авось» — в различных его символических проявлениях — означает демонстративное «безразличие» к проблеме выбора решений и к самому *выбору* (хотя бы одного из двух); принципиальное «уравнивание» по смыслу любых альтернативных решений, явлений, процессов, результатов; исходную *неопределимость* самой национально-исторической судьбы, представляющей-ся амбивалентной («что будет — то будет!»).

А. Ахиезер тоже дал свой комментарий к протоментальному основанию российской цивилизации. «Высокий уровень дезорганизации [в российской социокультурной жизни. — И. К.] можно рассматривать как результат недостаточности проникновения общества его ценностями, некоторыми всеобщими представлениями, создающими базовый консенсус, устойчивость изменений, что открывает путь потокам случайностей, неопределенности, культуре, выдвигающей «авось» в качестве своего фокуса. «Авось» можно рассматривать как попытку людей приспособиться к высокодезорганизованной среде, соответственно увеличивая

собственную дезорганизацию. Высокая дезорганизация стимулирует отход от власти закона в пользу власти чиновника, слабость демократии как высокоорганизованной власти многих»⁹. Таким образом, формула «авось» предстает как фокус культуры, формирующейся из потоков случайностей и обладающей высокой степенью смысловой неопределенности и функциональной дезорганизации.

«Облом»

В середине XIX в., в период интенсивного становления феномена «всемирной отзывчивости» русской классической культуры, один из признанных русских классиков И. Гончаров «специализировался» на рефлексии и типизации русского и российского менталитета, запечатлевшегося на длительную перспективу вперед в формуле «обломовщины», ставшей диагнозом некоей культурно-исторической и социокультурной болезни нации. Предметом творчества Гончарова в целом и был *национально-русский менталитет* как таковой, с разных сторон, в различных аспектах и приложениях рассмотренный писателем на протяжении всей его литературной жизни и судьбы, на примере открытых им литературных типов, отображенных ситуаций и сюжетов.

Процесс углубления культурной рефлексии над русским менталитетом нашел свое отражение в динамике названий трех романов Гончарова, образующих в совокупности неразрывную триаду: «Обыкновенная история» — «Обломов» — «Обрыв». По мере углубления рефлексивного отображения русского менталитета усугубляется драматизм его осознания. Если поначалу констатируется лишь «обыкновенность», типичность (для России) всех постепенных превращений Одуевых, расстающихся с романтическими идеалами и возвращающимися на почву традиционной, приземленной обыденности, то в дальнейшем фиксируется все большая деструктивность страны, неспособной к модернизации и европейскому прогрессу, к преодолению исторического, социального и духовного застоя: «Обломов» — «ломка» человека, образа жизни, перспектив социального обновления; «Обрыв» — «прерывание» хода истории, исторического развития цивилизации, духовного роста личности и т.п.

Гончарову потребовалось совершить кругосветное путешествие на фрегате «Паллада», чтобы открыть (или, точнее, сформулировать) феномен «обломовщины» в русской душе и русской цивилизации. Сон о России закончился: он был долгим, полным тоски о светлом прошлом, неудовлетворенности настоящим, но более всего — разнообразных надежд и иллюзий... Пробуждение будет горьким и трезвым, трудным и страшным и, что самое обид-

ное, тоже долгим, прямо-таки каким-то бесконечным, неторопливо уходящим в тревожное и туманное будущее. «Сон» и «Пробуждение» — так назвал сам Гончаров две эпохи русской жизни, две картины, выражающие эти сменяющие друг друга исторические эпохи, воссозданные в его зрелом творчестве.

Великий русский писатель был убежденным последователем идей Просвещения XVIII в. (отсюда все правомерные параллели с Гёте, Шиллером, Руссо, Карамзиным, Л. Толстым, Герценом; отсюда различные аспекты «романа воспитания» — дидактические, сюжетные, философские, психологические, стилевые). Поэтому-то для Гончарова преодоление русским народом своих «племенных черт»: пассивности, апатии, лени, дремоты, идиллии прошлого и утопизма будущего — «преодоление на путях Цивилизации» — представляется «первозначимой задачей». Россия, подобно Марфеньке в мечтах просветителя-Райского, «должна быть разбужена ото сна и оцивилизована»¹⁰.

Несомненно, для Гончарова, как сознательного наследника идеологии Просвещения, существовал абстрактный Человек вообще, Прогресс вообще, Воспитание вообще, Добро вообще, Цивилизация вообще и т. п., и все, что так или иначе «недотягивает» до абсолютных, эталонных критериев совершенства, не воплощает Идеал, — должно быть *воспитано* в соответствии с требованиями и достижениями общечеловеческого развития. Сам Гончаров называл европейскую культуру «всеобщей»: «Если чувства и убеждения национальны, то знание — одно для всех и у всех»¹¹. Известны и еще более резкие суждения Гончарова, — в статье о картине Крамского «Христос в пустыне», опубликованной посмертно, писатель с редкой для него жесткостью писал: «...Чище и выше религии христианской — нет <...> — и нет другой цивилизации, кроме христианской, все прочие религии не дают человечеству ничего, кроме мрака, темноты, невежества и путаницы»¹².

«Илюшу в Обломовке насильственно ограничивают в действиях, впечатлениях, подавляют его природную энергию и любознательность, компенсируя отчасти потери в самостоятельном познании мира развитием воображения, питаемого “необузданной фантазией”». «Детская склонность погружаться в мечты-фантазии» дополнялась сказками, в которых «поэтизировались те же самые начала, что царили в жизни», — т.е. идиллия, многократно усиленная народной фантазией. Не случайно любимая сказка — «По щучьему велению» о счастье Емели, не слезающего с печи и все получающего само по себе. «В русской мифологии поэтизировались не труд, усилие, борьба, а случайная удача, что выпадает человеку ни за что ни про что» (С. 265 — 266), а точнее — *чудо* (во всех его житейски-бытовых и религиозно-философских вариантах).

Е. Краснощекова четко договаривает современными научными категориями то, что Гончаров формулировал беллетристически, ассоциативно: «Этюд о детстве Илюши, таким образом, расширяется до социопсихологического исследования истоков особого русского менталитета... Подмена действительности вымыслом (шире — утопичность сознания) видится коренной чертой национальной ментальности» (С. 267). Воссоздавая по рассказам няньки те времена, когда «закладывалась ментальность обломовцев», Е. Краснощекова придает исторический масштаб тем репликам, вырвавшимся у писателя, где он к числу «племенных черт» нации относил пассивность, дремотное переживание своих драм, жизненную апатию, господство обстоятельств над сознанием и деятельностью: «Сама общинность обломовской жизни (муравьиная коллективность), ее оппозиция индивидуальному началу генетически восходят (в контексте истории) к необходимости совместной обороны против почти непреодолимых, неблагоприятных обстоятельств, воздвигаемых Историей и Географией: суровость климата, открытость (обнаженность) равнинного пространства в сторону врага, внутренние распри...» (С. 260).

Картина Обломовки, начинаясь как скрупулезно-реалистическая, постепенно перерастает в символическую (еще Д.С. Мережковский говорил о Гончарове как о скрытом предшественнике символизма), и в этом литературовед резонно усматривает «глубинный замысел» писателя — «максимально расширить толкование образа усадьбы (деревни) до превращения ее в образ целой страны» (неоднократно у Гончарова Обломовка и Россия оказываются синонимами). «Обломовка — это страна, которая так и не покинула позднего средневековья, отринув петровские реформы и последовавшие за ними сдвиги в сторону Европы и Цивилизации, она осталась в Азии в ее историософской трактовке (отсюда во «Фрегате “Паллада”» параллель между обломовской Россией и феодальной Японией).

Пространственная отграниченность (оторванность от жизни за пределами усадьбы и окружающих деревенок), боязнь мира за отмеченными границами (история с получением письма), опасливое недружелюбие к чужакам (эпизод обнаружения незнакомого человека около деревни) соотносятся с характерной для полутатарской Московии ксенофобией. Время в Обломовке ходит по кругу в духе специфического русского прогресса-регресса: «вневременность» подчинена быту, сонному, неизменяющемуся...» (С. 259). Вырисовывающийся здесь *хронотоп русской культуры*, если воспользоваться знаменитым термином Бахтина применительно не только к жанру идиллии или романа (ср.: С. 253), но и к семантике национальной культуры в целом,

глубоко архаичен и мифологичен. Но главное – ущербен: недаром и имя героя, и название местности, и наименование национальной болезни духа происходит от одного корня – «облом», символизирующего ментальную неустойчивость и незавершенность российской цивилизации.

«Обрыв»

Еще глубже символичность последнего романа Гончарова – «Обрыв», где пара персонажей-«двойников» – Райский и Волохов – предстают как две разрушительные крайности «русского духа» (не менее выразительные, чем антиподы Обломов и Штольц в предыдущем гончаровском романе). «Судьба Райского, по словам Е. Краснощековой, – это метание от одного миража к другому (контраст с Обломовым, остающимся верным одному миражу)... Он предпочитает обманываться без конца, только бы избежать скуки, что влечет за собой сама остановка погони за миражами». «Нигилизм Волохова (его нескладная “пропаганда” в дремучей провинции) – тоже своего рода мираж, призванный разрядить бунтарскую энергию обиженного на мир человека» (С. 438).

Пара «Райский – Волохов», как и «Обломов – Штольц», знаменательны не только для творчества Гончарова, но и для истории русской культуры, для самой русской истории. «Бездеятельность» и «деятельность, лишённая гуманного и действенного содержания» – *одинаково бесперспективны* для России (Курсив мой. – И.К.). «И та и другая – порождение неизжитой юношеской незрелости. В «Обрыве» “позорная лень” дилетанта и “безумная деятельность” нигилиста выглядят двумя ликами одного и того же русского, или обломовского, типа, являющегося самым значительным гончаровским обобщением в сфере менталитета» (С. 438).

Сама метафора «мираж» у Гончарова «прилагается к феномену существования не только одного индивидуума, но и целого народа»; слова, вырвавшиеся у Райского: «Дела у нас, русских, нет, есть мираж дела», – у Гончарова переводятся в план размышлений «над социальной психологией и формами поведения (ментальностью) русских людей, над их национальной этикой». «В беспокойных метаниях Райского, в его юношеских нетерпеливости и максимализме, Гончарову видятся не только проявления его артистизма, но и признаки принадлежности к “молодой нации”, так и не обретшей в своем развитии уважения к стабильности, интереса к работе как к процессу, “врожденной” дисциплины труда...» (С. 438 – 439). Следует говорить даже о «миражности окружающей жизни в целом» (С. 439) – в параллель к «утопичности сознания» русских. Как пессимистический прогноз Гончарова прочитывается сама смена определений российской историчес-

кой судьбы: вслед за «обломом» («сломом», «надломом») неизбежно следует «обрыв», падение в бездну, национальная катастрофа. Символика «Обрыва» – это предчувствие Гончаровым русской революции и наступления тоталитаризма, исподволь подбирающихся к российской цивилизации изнутри нее.

Все отмеченные модификации феномена «обломовщины» – как в творчестве Гончарова, так и за его пределами – очень выпукло рисуют социокультурную динамику такого, казалось бы, неподвижного феномена, как ментальность, демонстрируя мало заметные сдвиги в национальном самосознании русской культуры. Вслед за «обыкновенностью» истории, характеризующейся неразличимостью оттенков смысла, русский менталитет далее оценивается как «облом» цивилизации, а в дальнейшем – как роковой для России «обрыв» всех жизненных сил, как духовная пропасть, падение.

«...Для объяснения массового поведения, самого характера воспроизводства институтов, форм человеческих отношений и т.д. ... – писал А. Ахиезер, – необходимо рассмотреть глубинные пласты массового сознания, народной культуры, имеющие подчас архаичные истоки, на которые могут накладываться новые слои. Задача науки как раз и заключается в выявлении отношений этих уровней между собой, выявлении мучительных процессов приспособления всех высших уровней к сложным и неясным массовым процессам»¹³.

Осмысление подобных процессов в истории XX – XXI вв., выявление *ментальной доминанты* российской цивилизации в советский и постсоветский период ее развития, анализ ее глубинных мифологических истоков – новая актуальная задача, ждущая своих исследователей, которая была поставлена философом и культурологом А. Ахиезером – ученым, далеко опередившим свое время.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Гольц Г.А. Культура и экономика России за три века (XVIII – XX). Т. 1. Менталитет, транспорт, информация (прошлое, настоящее, будущее). – Новосибирск, 2002.

² Ахиезер А.С. Труды. Т. 2. – М., 2008. – С. 446.

³ Там же. – С. 446, 448.

⁴ Там же. – С. 448.

⁵ Багно В.Е. Пограничное сознание, пограничные культуры // Полярность в культуре. Канун: Альманах. Вып. 2. – СПб., 1996. – С. 420.

⁶ Выражение Ф. Достоевского, относящееся к Пушкину и к русской культуре в целом.

- ⁷ См. подробнее: *Кондаков И.В.* Введение в историю русской культуры. – М., 1997. – С. 62 – 68 и далее; *Кондаков И.В.* Культура России. 4 изд. – М., 2008. – С. 29 – 30 и далее.
- ⁸ См.: *Вежбицкая А.* Язык. Культура. Познание. – М., 1997. – С. 78 – 79.
- ⁹ *Ахиезер А.С.* Труды. Т. 1. – М., 2006. – С. 131.
- ¹⁰ *Краснощекова Е.* Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. – СПб., 1997. – С. 397. В дальнейшем ссылки на эту книгу, этапную в осмыслении творчества Гончарова, даются в тексте статьи, в скобках.
- ¹¹ И.А. Гончаров-критик (вступ. статья и коммент. Е. Краснощековой). – М., 1981. – С. 163 – 164.
- ¹² Там же. – С. 110.
- ¹³ *Ахиезер А.С.* Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). 3 изд. – М., 2008. – С. 789.

Аннотация

В статье обсуждается менталитет как глубинная структура культуры и доминанта цивилизации. Внимание автора фокусируется на проблемах российской цивилизации, находящейся между Востоком и Западом, ее пограничного сознания и смысловой неопределенности ее культурной семантики. Автор выделяет важнейшие концепты русского менталитета – «авось», «облом» и «обрыв».

Ключевые слова:

менталитет, доминанта, российская цивилизация, глубинная структура культуры, пограничное сознание, смысловая неопределенность культурной семантики.

Summary

This article discusses mentality as a deep structure of culture and dominant of civilization. Author's attention focuses on problems of Russian civilization, placed among the East and the West, its frontier consciousness and sense uncertainty of its cultural semantics. The author distinguishes the most important concepts of Russian mentality – «avos» (perhaps), «oblom» (wreckage) and «obryv» (precipice).

Keywords:

mentality, dominant, Russian civilization, deep structure of culture, frontier consciousness, sense uncertainty of cultural semantics.